



Филипп Эриа

# ЗОЛОТАЯ РЕШЕТКА

КНИГА ТРЕТЬЯ

О ГОРЬКОЙ СИЛЕ СЕМЕЙНЫХ УЗ

Буссардели

Филипп Эриа

**Золотая решетка**

«Азбука»

1957

УДК 821.133.1-31  
ББК 84(4Фра)-44

**Эриа Ф.**

Золотая решетка / Ф. Эриа — «Азбука», 1957 — (Буссардели)

ISBN 978-5-389-31523-5

1941 год. Могущественные Буссардели продолжают жить в своем особняке на авеню Ван-Дейка. Ни война, ни испытания не изменили этих жестоких, циничных людей. Изгнанная из клана Агнесса Буссардель удалилась на мыс Байю, и для нее, повзрослевшей и состоявшейся женщины, главные забота и чаяния – ее сын. Но время сглаживает углы, общая беда объединяет, и Агнесса, все еще сильно привязанная к семье, хочет склеить осколки, наладить отношения, дать своему ребенку опору в виде близких по крови людей. Агнесса, прекрасно понимая всю утопичность своего замысла, делает первый шаг навстречу Буссарделям – едет в оккупированный Париж.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-31523-5

© Эриа Ф., 1957

© Азбука, 1957

# Содержание

I	6
II	16
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Филипп Эриа

## Золотая решетка

Philippe Hériat  
Les grilles d'or

© Éditions Gallimard, Paris, 1957

© Жаркова Н.М., Песис Б.А., наследники, перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке ООО «Издательство Азбука», 2025

Издательство АЗБУКА®

## I

Пожалуй, именно в рождественские дни сорок первого года Агнесса Буссардель впервые спросила себя, уж не слишком ли она несправедливо относится к своей семье.

В Марсель Агнесса прибыла в сумерки. Студеный шквальный ветер с размаху бился о выступы домов, словно оттачивая о них свою ярость. Агнесса приехала с мыса Байю, что в нынешних условиях стало предприятием нелегким. Нормального сообщения между островом Пор-Кро и Сален де Гиер уже не было. Со времени перемирия, заключенного в июне сорокового года, Лазурный берег находился под властью Виши. На всем протяжении от Колиура до Ментоны лишь изредка выплывали в открытое море баркасы, а рыбаки – жители маленьких гаваней – курсировали неподалеку от берега, сокрушенно, даже с какой-то тоской вглядываясь в прозрачные воды Средиземного моря. С наступлением темноты любая попытка зажечь в лодке фонарь немедленно пресекалась; обнаружив в прибрежных водах любую тень, полиция немедленно пускалась в погоню. Как ни малочисленно было население островов, власти ввели здесь специальный режим запретов и принуждения. Только дважды в день – рано утром и вечером – разрешено было движение между островами и континентом, как называли здесь побережье.

Агнессе пришлось пробираться погруженными во мрак улицами и переулками Марселя; ей необходимо было попасть в подвальное помещение одного кафе, затерявшегося где-то среди зданий квартала Шапитр. Прежде чем войти, она еще раз сверилась с адресом, нацарапанным на бумажке, и взглянула на вывеску; именно здесь должны были собраться несколько человек, собраться тайно – под предлогом празднования рождества, в котором согласилась принять участие и Агнесса. Присмотревшись к дому, более чем невзрачному, она подумала, что самый выбор места для собрания такого рода и в такие времена прекрасно соответствовал характеру ее подруги. «Я не могла отказать ей, как в прошлом году», – подумала она, проходя через помещение кафе и спускаясь по лестнице, согласно указанию в записке. С тех пор как Агнесса овдовела, прошло два года, и обычная ссылка на вдовство сейчас уже вряд ли прозвучала бы убедительно.

Подруга Агнессы суетилась вокруг стола и в ожидании гостей расставляла холодные закуски. Она сразу пожаловалась Агнессе, что не нашла почти ничего из продуктов, которые думала достать, и, рассказывая о своей неудаче, не выпускала изо рта пустого мундштука, который заменял ей сигарету. Агнесса вручила подруге литр оливкового масла, сообщила, что сын ее, о котором та осведомлялась, вполне здоров, и в ответ услышала, что ей поручается отправиться на вокзал: трое журналистов, проживающих в Лионе и приглашенных на сочельник, прибудут с ближайшим поездом, но место встречи им сообщено не было.

– Вы их сразу узнаете, – сказала Агнессе хозяйка и распорядительница сегодняшнего вечера. – Девушка и два молодых человека. Особенно их не расспрашивайте. Пусть лучше расскажут свои новости за столом. Это нам заменит закуску.

Во внутреннем помещении вокзала Сен-Шарль было почти безлюдно; затемнение, хотя и весьма относительное, превратило железнодорожные пути в мертвую пустыню, уходившую куда-то вдаль, во мрак, которому не могли противостоять редкие и зловещие отблески света. Стекланный свод тоже был еле виден, крыша уходила куда-то вверх, где уже безраздельно господствовал холод. Морозный воздух застыл в неподвижности, которая нарушалась лишь в те мгновения, когда вдруг открывали дверь, наглухо зашторенную синим, – она как бы нехотя поддавалась человеческой руке и тут же снова уступала напору ветра, так и не дав уловить очертания человеческой фигуры. Люди быстро перебежали от одного островка света к другому, исчезали из глаз, окликались друг друга. Было что-то нелепое в этих бредовых движениях, в этом псевдозатемнении, в игре света и теней, и обычная на всех ночных вокзалах бездушная атмо-

сфера безразличия ощущалась еще сильнее на этих железнодорожных путях, упирающихся в тупик.

На доске железнодорожного расписания появилась надпись, сообщавшая о том, что поезд из Лиона опаздывает. Агнесса решила посидеть пока у буфетной стойки. Весь остаток вокзального оживления нашел себе приют здесь, в жестком свете электрических лампочек, освещавших мраморные столики и лица беседующих. Агнесса быстро прошла к свободному месту за столиком и очутилась между двух групп пассажиров; она сразу поняла, что это прибывшие из Парижа ожидают в буфете пересадки в обществе родственников, тоже парижан, видимо, осевших в Марселе и пришедших на вокзал повидаться с проезжающими. Даже в этом случайном месте их можно было отличить от местных жителей: выдавало не только произношение, но также худоба, по которой сразу опознавали жителей оккупированной зоны, не говоря уже о том, что все женщины отсюда носили на голове самодельные тюрбаны. Кто сооружал их из шарфа, кто из кашне, кто из куска толстой шерсти или искусственного шелка, но у всех тюрбаны еще хранили складки, свидетельствовавшие о прежнем их употреблении, у всех они были сделаны на один манер, скрывая затылок и уши и выступая узлом повыше лба, похожие не то на сбившийся на сторону бинт у беспокойного больного, не то на тюремный колпак. Агнесса подумала, что это должно быть, в конце концов, довольно практично и что не так уж трудно повязывать тюрбан: нужно только набить руку. Здесь, по другую сторону демаркационной линии, эта мода еще не укоренилась.

Одна из женщин, сидевшая ближе всех к Агнессе, что-то возбужденно рассказывала, откусывая большие куски от бутерброда. Ее спутники, очевидно, принесли ей это угощение, не очень прислушивались к рассказу, и видно было, что они сами не могут оторвать глаз от огромного ломтя, пропитанного маслом; меж тем дама продолжала говорить, никому не предлагая поделиться своим добром, и при каждом щелкании челюстей, перемалывавших хлеб, с ломтя струйкой текло оливковое масло. Путешественница старалась не уронить ни крошки, и в то же время ей хотелось поскорее рассказать все, что она знала; это лихорадочное поглощение пищи сопровождалось таким же болезненным недержанием речи.

– Выпей чего-нибудь, – советовали ей, – а то, не дай бог, подавишься.

Кто-то предложил ей подержать бутерброд, но она не соглашалась выпустить его из рук, судорожно вцепилась в него пальцами.

Ей налили вина, и все смотрели, как она пьет, а через мгновение вновь послышался ее голос.

Никто не пытался останавливать ее. В сущности, она не сообщала никаких новостей о родственниках или друзьях, она рассказывала о парижском голоде, о несправедливости в распределении пайков, о гнусности черного рынка, о холоде, о чудовищных ценах на древесные опилки, о полицейских свистках при малейшем проблеске света сквозь щелочку занавесок, о том, как в часы пик происходят настоящие битвы и у входа в метро, и при посадке в вагоны.

– Но самое страшное – это очереди! – воскликнула она. – У меня уже нет сил стоять в очередях. Ведь приходится становиться в хвост, когда еще совсем темно, хоть они и передвинули часы, а возвращаешься к себе – уже полдень. Верно, верно, я вам не вру. Да еще счастье, если не объявляют воздушную тревогу, потому что, если ты случайно окажешься далеко от дома и дежурный попадетя слишком рьяный, – пожалуйста в погреб! Хочешь не хочешь – все равно заставят. Проходит час, ты выбираешься на поверхность и снова пристраиваешься к очереди. А бывает и так, что после двух-трех часов выстаивания, когда наконец наступает твоя очередь и тыходишь в лавку, вдруг вывешивают объявление: сегодня продажи больше не будет! А кто виноват? Все черный рынок – будьте уверены. Да, да, торгашам я это припомню. Если выживем, сведем с ними счеты. А у вас в Ницце есть черный рынок? И вот результат: посмотрите на мои руки, – закончила она с новой силой... Рот у нее был набит едой, она протянула окружающим свои руки с раздувшимися, как сосиски, пальцами, с потрескавшейся кожей какого-

то бледно-лилового оттенка. – Это недостаток жиров сказывается. И ничего тут не поделаешь. Выдадут чуточку масла, а остальное своруют. Со всех сторон жульничество. Эрзацы! Вместо кофе жареный ячмень, и прессованная мука из вики вместо хлеба. Вот тебе еда, вот тебе и питье. А пирожки с рыбой продают готовыми – можете жевать их сколько угодно, фарш хрустит на зубах, это просто размельченные ракушки. Кажется, только оливковое масло еще не додумались подделывать. Лучше всего суррогаты, по крайней мере, не вредят здоровью, например экстракт из водорослей, но лично я никак не могу привыкнуть: салат хрустит на зубах. И все-таки все бы это ничего, если бы не очереди. Можете мне поверить, привычка к очередям превратилась у многих в какую-то манию, навязчивую идею. Достаточно увидеть очередь на тротуаре – и человек сразу пристраивается в хвост, даже не узнав, что продают, чего ждут люди, даже не имея соответствующего талона.

Агнесса отвернулась, но тут же услышала беседу соседей с другой стороны. Тут говорили о патрулях, о том, что появление на улице после комендантского часа грозит чуть ли не смертью, о том, что в некоторых округах Парижа людей заставляют по три дня сидеть дома и любоваться из окон пустынными улицами, о репрессиях в ответ на покушения, о приказах, которые появляются утром на стенках уличных уборных и где двумя длинными столбцами напечатаны имена расстрелянных этой ночью заложников. У говорившего были впалые щеки, и хотя в его рассказе не чувствовалось той страшной растерянности, что у рассказчицы, самый тон был тот же – какое-то сочетание скорбного упрека и гордости, что Агнессе уже не раз приходилось улавливать в разговоре с людьми из оккупированной зоны. Рассказчик сообщил, что десять дней тому назад в Париже были расстреляны в один день сто заложников и что Штюльпнагель обложил евреев, проживающих в оккупированной зоне, контрибуцией в один миллиард. Тут он заметил, что Агнесса прислушивается к беседе, и подмигнул своим собеседникам. Те поняли, наклонили к нему головы, и теперь рассказчика почти не было слышно. Агнесса поднялась с места, вышла. Дверь с оклеенными стеклами закрылась за ней, вновь вернула ее в крошечную тьму.

Бродя по вокзалу, Агнесса не находила уголка, где могла бы приткнуться. Вход в зал ожидания был воспрещен: помещение передали морской полиции. На часах у двери стояли солдаты морской пехоты в касках с ремнем под подбородком: псевдоармия под стать здешнему псевдозатемнению. Агнесса подумала, что отсюда можно было бы соединиться по телефону с Пор-Кро. Но тут же сообразила, что после семи часов вечера связь с островом допускалась лишь в экстренных случаях, к тому же было уже слишком поздно и ей не хотелось без особой нужды беспокоить милую Викторину, которой она доверила своего сына. В конце концов ей удалось обнаружить рядом с багажным помещением темный уголок, где она и уселась на какой-то ящик.

Сюда пассажиры не заглядывали. Она сидела не шевелясь, мучительно обдумывая все, что пришлось услышать в буфете, ее мысль лихорадочно работала, хотелось что-то понять, представить себе воочию. Начиная с июня сорокового года она, можно сказать, ни разу не ступала на землю материка, в Гиере бывала только по самым неотложным делам, а уж дальше ни шагу. К маленькому этому островку, где проживало всего тридцать обитателей, ее приковывали заботы о ребенке, а также хозяйственные заботы. То, что ей до сих пор приходилось слышать насчет условий жизни в оккупированной зоне, не позволяло сделать ясных выводов: столько ко всему примешивалось сплетен, неправдоподобных выдумок и явно подозрительных преувеличений! Видно, тетя Эмма в свое время не зря утверждала, что в этой дочери господ Буссарделей сидит не столько бес, сколько дух противоречия. И в самом деле, Агнесса предпочитала оставаться скептиком в современных условиях, скептиком во что бы то ни стало и из принципа; она старалась не слышать ежедневно распространявшихся слухов, независимо от того, кому они были на пользу. Это лучшее средство быть порядочным человеком, любила она повторять. И включала она только передачи швейцарского радио.

Сегодня получилось по-иному; но если сегодня она проявила внимание к тому, что говорили люди, встретившиеся ей случайно, то лишь потому, что это были сами очевидцы событий. Сидя в своем уголке, она почувствовала, что мерзнет, от холода начали гореть уши, сжимало виски. Она, как всегда, вышла с непокрытой головой и теперь, сняв кашемировый платок с шеи, сложила его на коленях по диагонали и повязала им голову. Подняв воротник, она вынула из сумочки зеркальце и убедилась, что тюрбан удался ей с первого раза. Впрочем, этот головной убор только подчеркнул ее здоровый цвет лица в сравнении с парижанкой, пожиравшей бутерброд, пропитанный маслом. Благодаря классическим, по ее мнению, даже чересчур классическим, чертам лица Агнессы в этом уборе сразу стала похожа на расиновскую Роксану, на «Одалиску» Энгра. Из уголка, где она устроилась, багажное отделение представлялось таким пустынным и беспросветно мрачным, что рядом с ним еле освещенная и почти безлюдная зала выглядела чуть ли не оживленной. Во всем окружающем чувствовалось уныние, тоска ожидания перед путешествием в никуда. В памяти Агнессы всплыла другая картина марсельского вокзала, сказочно расцвеченная бабушкиной фантазией, с его суетой и оживлением. В те времена, когда бабушка Буссардель еще могла говорить, она иной раз рассказывала о своем прибытии в Марсель во время свадебного путешествия. Она описывала то ошеломление и восторг, которые охватили ее еще на ступеньке вагона, когда ей впервые открылся этот город, залитый южным солнцем, по-восточному яркий и непривычный. За всю долгую жизнь у бабушки накопилось только два-три таких воспоминания, которыми она соглашалась поделиться и продолжала вспоминать до глубокой старости. Неудивительно, что этот рассказ врезался в память ее внучке Агнессе.

– Милое мое дитя, – начинала бабушка, – ты слушаешь меня? То, что представилось тогда моим глазам с земляной насыпи, показалось мне таким прекрасным, осветило радостью жизнь. Такая великолепная открылась нам панорама. У меня чуть голова не закружилась, и, помню, я оперлась на руку твоего деда. Ах! Твой дедушка! Ты его не знала...

Он умер внезапно, когда ты только-только появилась на свет. Но ты должна всегда помнить о нем, слышишь! – повторяла старая мадам Буссардель, окидывая Агнессу испытующим взглядом, и при этом она каждый раз брала со стола пожелтевшую фотографию, которая всегда была у нее под рукой среди других фотографий, и протягивала внучке. – Ну как? Нравится? В свое время твой дед считался красавцем. Мы вышли из вокзала, он еле заметно взмахнул своей тросточкой, и тут же подкатил экипаж. Простой фиакр, открытый или, вернее, с верхом, украшенным кистями, ну, знаешь, как в Неаполе. «Трогай!» И мы покатали по улицам Марселя, объехали весь город. Наше свадебное путешествие началось. Мы отправились в Гиер Пальмовый. Было это еще при императоре. Мне тогда исполнилось шестнадцать лет.

Агнесса поднялась со своего импровизированного сиденья. Она покинула неосвещенное убежище и снова зашагала по асфальту перрона, которого не существовало в бабушкины времена, вернулась к действительности, погрузившись в тяжелую тьму оккупации. На поворотах она бросала взгляд в сторону доски, где отмечалось прибытие поездов, и убеждалась, что лионский поезд все еще запаздывает. Но мысли ее витали в прошлом, ей виделась бабуся, верховное и грозное божество, неизменно восседавшее в кресле спиной к парку Монсо, спиной к живой жизни. В представлении Агнессы родоначальница Буссарделей с этого своего места проследовала непосредственно в загробный мир; этот образ старшей в роду Буссарделей стал как бы символом всего рода, и на этом обрывались воспоминания о прошлом. Бабуся умерла тихо и мирно всего два года тому назад, незадолго до объявления войны, вскоре после драмы, которая стоила жизни Ксавье и привела овдовевшую Агнессу к разрыву с семьей. Агнесса так и не повидала больше бабушку, даже в гробу; сославшись на близость родов, она не поехала в Париж на похороны.

Наконец лионский поезд подошел к платформе. Агнесса поместилась у выхода рядом с контролером и без труда узнала новоприбывших по тому, как они внимательно оглядывались

вокруг. Новые знакомцы последовали за ней. Едва они начали спускаться с лестницы Сен-Шарля, как в лицо всем четверем ударил ледяной порыв ветра и принудил остановиться на полпути, на средних ступеньках. Агнесса знала, что такое здешний ветер, и взяла под руку девушку и младшего из ее спутников, которого чуть было не сбило с ног. Крепкая, высокая, сохранившая еще спортивную форму благодаря здоровой жизни на мысе Байю, она заслоняла от ветра новоприбывших, чувствовала себя куда сильнее их. Когда они спустились с лестницы и вышли на бульвар Дюгомье, Агнесса объяснила им, что такого ветра, как в этом уголке Средиземноморья, нет нигде и что он уже не первый день гуляет по побережью.

– А я-то думал, что здесь погода мягче, чем в Лионе, – сказал один из юношей.

– Но все-таки грех жаловаться, – живо возразила Агнесса. – Если бы вы знали, какие холода стоят сейчас в Париже!

– А вы оттуда?

– Нет. Я живу в Пор-Кро круглый год. Моему сыну всего два года, и мне нельзя отлучаться надолго. Но я только что видела людей, приехавших прямо из Парижа. Во всяком случае, у нас нет обмороженных, как у них там.

Журналисты переглянулись.

За время ее отсутствия подвальное помещение кафе успело наполниться народом. Агнесса вновь увидела накрытый стол и возле него свою приятельницу – она была на посту, в своей роли распорядительницы рождественского ужина. Ужина, перенесенного с полуночи на десять часов вечера, что представляло по нынешним временам несомненные выгоды, поскольку можно было сэкономить и не обедать. Приятельница Агнессы была вдовой художника, вышедшего из группы «диких» и пользовавшегося известностью в эпоху между двух войн, в двадцатые годы, когда хозяйка этого вечера, называвшаяся ныне просто Мано, еще именовалась Манолой. Теперь она жила одна в городе Кань, стране художников.

Нелегко оказалось разбить лед и разжечь беседу между гостями, которые едва знали друг друга, так как жили в разных местах Лазурного берега, да и обосновались здесь, движимые различными мотивами: тут были и деловые люди, и деятели кино и литературы, за которыми, по их словам, следили оккупанты, или же «слишком рьяные патриоты, чтобы гнуть шею под немецким сапогом», евреи, флотские офицеры с женами; среди этих временных обитателей французского юга заметно выделялись аборигены, поселившиеся здесь еще до войны и чувствовавшие себя более непринужденно. В общем, явно преобладали женщины и явно не хватало молодежи. Всю эту пеструю публику связывало, не считая главного магнита – ужина, лишь присутствие Мано, которая поспешила усадить гостей за стол, сама оставаясь в качестве хозяйки на ногах. Она нарочно выбрала для сегодняшнего вечера помещение кафе с примыкающей к нему кухней, но отказалась от услуг официантов, ради того чтобы приглашенные могли себя чувствовать свободнее и не сидеть с закрытым ртом; она взялась обслуживать приглашенных сама и потому то и дело отлучалась на кухню, что сказывалось на настроении гостей. Гости сидели молчаливые, с натянутым видом и ели медленно, кладя ложку на подставку после каждых двух глотков традиционного лукового супа, поданного, правда, без сыра.

Под предлогом помощи хозяйке Агнесса, которая не могла отделаться от чувства подавленности, овладевшего ею на этом странном празднике, встала и, выйдя на кухню, объявила Мано, что если та не позволит помогать ей, то уж лучше пусть сразу отпустит домой.

Теперь, когда Агнесса занялась делом, она довольно бодро шагала назад и вперед по душному залу с низким потолком, где на шафраново-желтом фоне местный художник изобразил купальщиц и матросов. И Агнесса невольно спрашивала себя, чего только не нагляделись эти стены в мирное время.

– Агнесса, – сказала Мано, придерживая ее за локоть в маленьком коридорчике, – не жалейте водки. У меня ее, надеюсь, хватит. А вино лучше потом. Водку эту я добыла у своего

фармацевта в Кань, что подделаешь, все лучше, чем видеть похоронные лица. Мне не хочется, чтобы моя затея провалилась.

Однако дело пока не шло на лад и все хитроумные маневры оставались втуне. Мано задумала это сборище лишь затем, чтобы самой не сидеть сложа руки и не давать сидеть другим.

«Надо все-таки хоть что-нибудь организовать», – сказала она Агнессе еще в прошлом году. Тогда она не могла похвастаться особой удачей, но прошлогодний неуспех ее отнюдь не обескуражил. И ныне здесь, за столом, царила какая-то растерянность, против которой она тщетно пыталась бороться: сказывалось это и в случайном подборе гостей, и в этом неурочном часе, и в гнетущей обстановке странного полуподвальчика, и даже в выборе места встречи, ибо Мано решила собрать своих приглашенных в Марселе единственно потому, что он был на равном расстоянии от Виши и Кань, от Ниццы и Лиона. Та готовность, с которой друзья Мано откликнулись сразу на ее зов, несмотря на то что поезда ходили редко и были переполнены, свидетельствовала о великой заброшенности этих новоиспеченных южан, пребывавших в ожидании событий, ход которых от них не зависел.

Понемногу гости оживились – из-за водки, а также благодаря явному преобладанию женщин. Женщины заговорили о детях, о прислуге: в общем, на сей раз из какого-то естественного чувства уважения перед празднично убраным столом вопросы пропитания не заслонили все прочее. Но женская беседа, интересовавшая далеко не всех гостей, еще не спасала положения. Невозможно было забыть окружающую действительность. Она чувствовалась и в самих разговорах, и в тех паузах, которые вдруг следовали за чьей-либо фразой и, казалось, будут длиться вечно. Весь этот вечер, на котором присутствовало так необычно мало мужчин, создавал впечатление какой-то неуверенности, неестественности, которые почти всегда сопровождают трапезы с чисто женским составом.

Одна из дам говорила больше всех и авторитетнее всех. Это была Тельма Леон-Мартен. С давних пор эта дама, когда-то довольно известная женевская щеголиха, мечтала играть роль в обществе, чему препятствовало весьма посредственное положение ее второго мужа. Первый муж, дипломат и притом хорошей школы, потерял терпение на пятнадцатом году супружества; он покинул Тельму в тридцатых годах просто потому, что ему опостылело слушать бесконечную, не прекращавшуюся даже в постели болтовню. Впрочем, и сама Тельма, которая как раз в те годы чувствовала себя в расцвете, предпочитала иметь менее заметного мужа. Карикатурист Сэм еще до первой войны, году в тринадцатом, увековечил ее в серии «Парижский зверинец», изобразив Тельму в виде совы-сипухи, ибо она была действительно довольно похожа на премиленькую совушку, и благодаря ее репутации назойливой болтушки прозвище «сипуха» пристало к ней навсегда. Не без труда она несколько раз добивалась и добилась наконец для своего мужа места начальника канцелярии, но истинный триумф поджидал ее супруга в июле сорокового года; она сделала Леон-Мартена министром на целые три недели, министром вишийского правительства, что удалось благодаря всеобщей неразберихе, последовавшей за разгромом.

Тельма утешала себя мыслью, что это лишь начальный этап, но этап многообещающий. После первого успеха она, по ее словам, решила ограничиться и ограничить своего мужа ролью наблюдателя. Чтобы как-то успокоить мучивший ее зуд деятельности, она непрерывно циркулировала между Парижем и Виши, между Виши и Парижем. И находила себе занятие в обеих зонах. В ее распоряжении был постоянный пропуск – аусвейс, о чем она не забывала сообщить всем и каждому. Так как на сегодняшнем вечере она была единственным человеком, побывавшим за демаркационной линией с тех пор, как немцы рассекли Францию надвое, гости, естественно, расспрашивали ее, как идет жизнь на том берегу, и она блистала описаниями Groß-Paris<sup>1</sup>, где площадь Оперы украсили новые столбы с указателями.

<sup>1</sup> Большой Париж (нем.).

– Это довольно внушительно, уверяю вас, это стоит посмотреть. Вы сразу видите, куда ехать: в сторону «Мажестик» или в направлении Аахена. Надписи, конечно, сделаны по-немецки. На каждом столбе вывешено двенадцать досок с указателями и с правой, и с левой стороны, доски расположены одна над другой и увенчиваются стрелкой. Очень похоже на рождественскую елку, вырезанную из дерева.

Невольно вспоминаешь прославленных нюрнбергских мастеров игрушки.

Переходя к описанию улицы Риволи, расцвеченной огромными флагами со свастикой, Тельма добавила, что, конечно, на первый взгляд это может кого-нибудь смутить, но вообще-то флаги лишь способствуют украшению улицы Риволи, всегда угнетавшей нас своей бесцветностью.

Мано все время была начеку и решила сразу же одернуть Тельму, если та открыто пустится в рассуждения о политике; впрочем, и сама рассказчица, не зная, каковы настроения ее сотрапезников, соблюдала известную осторожность. За плечами Тельмы был двадцатилетний опыт посещения политических салонов и высидивания в приемных; кроме того, она немало насмотрелась, курсируя из оккупированной в неоккупированную зону и наблюдая самых разных людей. И она без особого труда научилась не слишком выставлять напоказ истинные чувства, которые внушали ей немецкие оккупанты. Приемы ее маскировки были весьма несложны: так, например, она не скрывала, что пользуется постоянным аусвейсом, однако произносила это слово на французский лад «освез», хотя изъяснялась по-немецки вполне сносно. Мано, пригласившая журналистов, чтобы разузнать у них какие-нибудь новости, стала спрашивать их насчет японской высадки. Но, очутившись перед малознакомой им аудиторией, эти представители укрывшейся в тылу прессы старались главным образом подчеркнуть свои муки изгнанников. Жизнь в Лионе, говорили они, для них истинная пытка, иной раз так не хватает парижского воздуха, что, кажется, вот-вот задохнешься, и только мысль о том, что твой долг сохранить живым дух свободной публицистики помогает переносить тоску по столице и все тяготы существования ссыльных парижан. Они вспоминали французских писателей на чужбине: Жюль Валлеса в Лондоне, Виктора Гюго на Гернсейской скале, а во всем прочем просили не забывать, что первая их обязанность – хранить профессиональную тайну. К тому же они сразу почувствовали, что Тельма осведомлена куда лучше их, и решили, по-видимому, что самое разумное – предоставить ей одной распространяться о событиях на Марианских и Филиппинских островах.

Было около полуночи, ужин шел к концу. Агнесса, закончив свои хлопоты, уселась за стол неподалеку от Тельмы Леон-Мартен, почти напротив нее. Затаив дыхание, Агнесса слушала ее рассказы о светской и общественной жизни, шедшей своим чередом даже вне официальных кругов, о новом парижском быте – о приемах, о встречах.

– Огромную роль играет теперь телефон, – говорила Тельма. – Трудно передать, как много разговаривают сейчас по телефону. Парижане научились беседовать намеками, опасаясь бюро подслушивания, которого, уверяю вас, на самом деле вообще не существует, мне это известно из достоверных источников.

Агнесса старалась ничего не упустить из этих признаний, и, хотя разговор стал общим, ей удавалось следить за рассказами Тельмы. Какова бы ни была она, эта красноречивая Тельма, Агнесса все же испытывала к ней нечто вроде симпатии, все-таки приятно было, что за столом сидит парижанка, которая в курсе всего, которая столько знает о жизни оккупированной столицы и, не заставляя себя просить, делится всеми этими сведениями с другими. Тельма появлялась голову тюрбаном, используя для этой цели шарф из ярко-красного сукна с золотыми узорами, и изящный его фасон выдавал работу знаменитой парижской модистки. Агнесса сделала ей по этому поводу комплимент, и Тельма тут же назвала имя модистки.

– Она, знаете ли, придумала этот фасон специально для меня. Таким образом я не опускаюсь до дешевки, ношу вещь, все-таки приготовленную по специальному заказу, и в то же

время не выделяюсь в метро, ибо все теперь носят тюрбаны. А нужно вам сказать, что в Париже сейчас не слишком рекомендуется выделяться. Мне, например, как вы сами понимаете, было бы не так уж трудно при желании получить «освез» на автомобиль. И горючее в придачу. Благодаря положению, которое занимает мой супруг. Однако я этого не сделала, потому что не всем это может понравиться. Я отказалась. Обхожусь без машины и чувствую себя прекрасно. Самые шикарные женщины разъезжают теперь в метро. И не путают, даже при пересадках. И никаких первых классов, только общие вагоны. Зато теперь в метро все читают. Женщины нашего круга читают в метро от начала до конца поездки. На улице Сент-Оноре продают чудесные папки для книг из полотна и даже из кожи, с удобными ручками, прямо как сумочки, так что их очень легко носить. Вы вполне можете встретить где-нибудь в вагоне метро даму в норках, читающую книгу. Вот так мы и живем.

Уже несколько минут Агнессе хотелось задать Тельме один вопрос, но парижанка не давала никому вставить ни словечка. Замолкнув на минуту, она тут же взяла стакан и стала прихлебывать, как опытный оратор между двумя торжественными периодами.

– Мадам, – успела сказать Агнесса, несколько понизив голос, и тут же пожалела, так как за столом установилось напряженное молчание, но отступить было поздно. – Мадам, я хочу вам задать один вопрос, который, возможно, покажется вам глупым... но я никак не могу себе представить... а я так люблю Париж, – добавила она, как бы желая оправдаться перед собравшимися.

– Да? – бросила Тельма, часто моргая и чуть улыбаясь снисходительной улыбкой, как бы говоря, что она ждет продолжения.

– Мне хотелось бы знать, с каким чувством смотришь на Париж, в котором находятся немцы.

Вся во власти своего волнения, Агнесса не заметила, как внезапно застыла в полной неподвижности Мано, обратив беспокойный взор в сторону Тельмы. Но та, которую называли в насмешку «сипухой», решила, что для вящего эффекта требуется выдержать паузу.

– Я очень понимаю ваш вопрос, – бросила она присутствующим. – Его как раз и задают мне чаще всего. Ну что ж, мадам, когда я подхожу к окну и вижу, как по авеню Президента Вильсона марширует патруль эсэсовцев, я не стану уверять вас, что мне это приятно. Однако я не могу не думать, что если бы не они, то на их месте были бы санкюлоты, и выбираю из двух зол меньшее.

Мано положила ладонь на руку своего соседа – капитана корабля, очевидно, не только затем, чтобы удержать его, – ей самой требовалась поддержка. И Агнесса уловила ее жест. За столом воцарилось холодное молчание, предвещавшее взрыв. Но Мано так быстро и так решительно сумела переменить разговор, что Тельма сразу почувствовала: есть пределы, которые перед этой аудиторией переходить не следует. Нимало не смутившись, Тельма сделала поворот на сто восемьдесят градусов и стала высмеивать «серых мышей», то есть немки в военной форме, весьма неуклюже на них сидевшей. – Но, – добавила она, – власти не особенно заботятся о том, что скажет общественное мнение... – Сменив пластинку, она даже решилась поставить под сомнение лояльность цензуры Виши, которая запретила спектакль «Любовники» Доннея и не одобряет возобновления «Тартюфа». Но Агнесса уже перестала слушать.

Рассказы Тельмы давали достаточно пищи для размышлений. Агнессу удивили отнюдь не разглагольствования этой вздорной особы, ибо в смутные дни разгрома она не раз уже подмечала у буржуа и у аристократов симпатии к немцам, порожденные именно ненавистью к республиканскому режиму. Нет, удивило ее другое: слово «санкюлот». Этот намек на восемьдесят девятый год перенес Агнессу в недра ее собственной семьи. Буссардели считали себя представителями исконной республиканской традиции и громкогласно заявляли, что до Революции они были ничем. В особняке на авеню Ван-Дейка, хотя и напоминал он не столько об эпохе Революции, сколько о пышности Второй империи, – так вот, в их особняке было принято

вспоминать о личности, ставшей почти легендарной, о некоей вязальщице, которая участвовала в Революции и была 13 вандемьера на улице Сент-Оноре и которая затем прижилась в семействе Буссарделей, где заменила осиротевшим малюткам их умершую родами мать. И в конце концов три поколения Буссарделей, возвращенные в духе самых высоких идеалов, усвоили правила верности и преданности, достойные античных героев. Бабуся до самой глубокой старости хранила воспоминание о некоей тете Миньон, урожденной Буссардель, которую упомянутая вязальщица учила читать и писать в царствование Карла X, о чем тетя Миньон рассказывала с очень живописными подробностями. Одним словом, эта принятая в лоно Буссарделей особа, бывшая как бы одним из краеугольных камней истории и традиций всего клана, покоилась ныне в семейном склепе на кладбище Пер-Лашез, и кое-какие ее взгляды оказали влияние на нравственные принципы Буссарделей. Все дамы, принадлежавшие к этой фамилии, не могли удержаться от слез во время исполнения «Марсельезы», будь это даже в таких торжественных случаях, когда гимн играли в театре Гранд-Опера в честь появления в ложе президента Республики. В ответ на шутки они отвечали, что ничего не могут с собой поделаться, ибо это у них врожденное, недаром знаменитые близнецы Буссардели, которым фамилия обязана всем: почетом, богатством, местом биржевых маклеров и нотариусов, не говоря уже о наследственных землях в долине Монсо, – так вот эти самые близнецы в младенческом возрасте играли на коленях у одной из фурий гильотины. Агнесса не раз слышала, как ее мать, ее тетки повторяли эту хвастливо-выспреннюю фразу, и ей вдруг показалось, что она вновь стоит перед стеклянной горкой в большой гостиной на авеню Ван-Дейка и там рядом с саксонским и японским фарфором по-прежнему красуется стакан довольно грубой работы, наследие революционерки, стакан, который, как утверждали, принадлежал самому Гракху Бабефу. Вообще на нее в этот вечер нахлынули воспоминания, как бывает, когда вдруг оживает в душе угасшая любовь.

В эту минуту одна из присутствующих дам посмотрела на часы и ужаснулась: было без пяти двенадцать, ее слова произвели впечатление, все замолчали, даже Тельма. Одни и те же мысли возникли у сидевших за столом людей, передаваясь от соседа к соседу, у каждого были дорогие им существа, семья, дом, был родной очаг, от которого они уже давно были оторваны, и каждому вспоминались прежние сочельники, вспоминались те, кто умер, и те, кто далеко, вспоминались все беды Франции. Парочки переглядывались, одинокие опускали глаза.

– Уже полночь? Это точно? – спросила Мано, и на фоне общего молчания было особенно заметно, что голос ее предательски дрогнул.

Над столом, где веточки остролиста стыдливо скрывали начисто вылизанные гостями тарелки, капитан поднял левую руку с часами. Соседи склонились над циферблатом.

– Ровно полночь, – сказал кто-то.

Мано поднялась с места.

– Поскольку полночь наступила, – произнесла она, – наиболее чувствительные могут облобызать друг друга.

И первая подала пример, обняв своих соседей справа и слева. Агнесса ждала, пока Мано подойдет к ней, ждала, опустив голову, отчего ее лицо Юноны казалось еще более упрямым, и уж совсем не вязалась с этим выражением по-детски выпяченная нижняя губка. Дойдя до Агнессы, Мано наклонилась и взяла в свои руки ее голову, но почувствовала, что та сопротивляется. Мано выпрямилась, и тут Агнесса вскочила с места, бросилась в объятия подружки и заплакала.

– Ну не надо, не надо... – повторяла Мано, похлопывая Агнессу по плечу.

Агнесса сама удивилась этому неожиданному взрыву и никак не могла успокоиться, прерывисто дышала и тревожно жалась к груди подружки. Затем вспомнила, что они не одни, и пробормотала какие-то извинения.

– Помилуйте, – сказала Тельма Леон-Мартен самым непринужденным тоном, – это же так естественно. Мы все взволнованы, но только вы одна не поддались чувству ложного стыда. Что ж тут такого?

Агнесса вернулась на свое место за столом.

– Нет, нет, мне право неловко, вы должны простить мне эту нелепую выходку. У меня ведь в оккупированной зоне осталась вся семья. В Париже, – воскликнула она, подняв голову. – И никаких известий. И никаких известий также от близких, находящихся в плену.

Она сказала это наудачу, но почти без риска ошибиться, ибо плен угрожал любому ее родственнику, братьям и кузенам. В семье Буссарделей не принято было уклоняться от исполнения воинского долга.

Тельма тут же предложила свои услуги. Они офицеры? А они воевали в четырнадцатом году? Нет? В таком случае их нелегко будет вызволить. И все-таки... Она доверительно сообщила гостям об одном важном государственном проекте. Наверху поговаривают о том, что нужно подготовить людской состав для обмена. С нашей стороны будут отправлены добровольцы для работы на немецких заводах, взамен чего немцы освободят военнопленных из расчета один военнопленный за трех рабочих. Ну, в общем, что-то вроде старинного обычая, когда «откупались» призывники. Конечно, тут есть разница: время военное и мы являемся побежденной страной. Немцы не могут согласиться на паритет, поэтому и будут менять троих на одного. Сейчас вопрос изучается. Операция будет именоваться «Смена».

## II

Позже, когда гости разошлись, у Агнессы и Мано, оставшихся в одиночестве, вырвался вздох облегчения: долг был выполнен. Агнесса подсчитала деньги, которые ей удалось незаметно собрать с гостей в счет складчины.

– До чего мы дошли! – пробормотала Мано. – И даже протестовать нельзя, а то скажут, что ты не понимаешь всей серьезности ситуации. Ну, да бог с ними. Надеюсь, не пришлось клянчить?

– Нет, не беспокойтесь. Я ждала, когда сами предложат. Что касается трех журналистов, у которых в кармане ни гроша, то я просто отказалась принять у них деньги.

Не говоря уже о том, что условия жизни вполне оправдывали систему складчины – более того, такая система диктовалась простым приличием, – все знакомые Мано прекрасно знали, как она стеснена в средствах. Ее единственным источником существования была коллекция картин, оставшаяся в мастерской покойного мужа, в старой высокой части городка Кань, – к счастью, коллекция содержала и картины других художников, а не только творения самого коллекционера. Мано расходовала эти фонды с мудрой неторопливостью, в первую очередь отделяваясь от балласта, и лишь изредка, в порядке исключения, расставалась с картиной, подписанной именем, всегда имеющим спрос на рынке. Если верить Мано, она без труда приносила эти жертвы.

– С годами я становлюсь все более и более равнодушной. У меня пресыщен глаз, как у других притупляется вкус к пище. Нет таких шедевров, которыми я слишком бы дорожила, да и людьми тоже!.. Со стороны можно подумать, что я люблю оказывать услуги, люблю быть на людях, – отнюдь! В лучшем случае это некая душевная гигиена. А то зачерствеешь!

К тому же нужно было поддерживать на должном уровне приток посетителей в домике на холме, что способствовало очередным распродажам картин. Если оглянуться на годы, протекавшие со времен монпарнасского расцвета, который был и расцветом Мано, то окажется, что приятельница Агнессы не утратила ровно ничего, кроме последнего слога своего имени. Напротив, истекшие годы, все более сказывавшиеся в чертах ее лица, по мере того как росло ее пристрастие к косметике, даже сблизили нынешнюю Мано с портретами Мано, написанными грубо мазками в обычной манере ее супруга, – двадцать лет назад изображения и оригинал имели куда меньше сходства. Даже поседев, она не перестала стричься под мальчику, благо волосы у нее были прямые и жесткие. Таким образом, оставаясь неизменной в кругу множества женщин, которые непрерывно меняли свою внешность в соответствии с модой, все более склонявшейся к женственности, Мано на современный вкус выглядела старой лесбийкой – грех, в котором она ни ранее, ни позже не была повинна.

Мано и Агнесса убрали со стола, перемыли посуду, радуясь этому одиночеству вдвоем, а также тому, что, не сговариваясь, распределили между собой хозяйственные хлопоты, снуя от стола к раковине, от раковины к мусорному ящику... Забыв усталость, тревожения сегодняшнего вечера, Агнесса испытывала теперь блаженное состояние, знакомое женщине, когда, наведя чистоту, перебив, вытерев все, она показала себя куда более расторопной прислугой, чем настоящая прислуга.

– Ну, что еще не сделано? – спросила Мано, оглядев строй пустых бутылок, когда все уже было приведено в порядок. – Скажите, вам очень хочется спать? Вы, конечно, уедете утром из-за вашего малыша, и я вас снова потеряю из виду на целые месяцы.

Впервые они встретились в Париже в иные, далекие уже времена и возобновили знакомство, когда Агнесса переехала на юг, на Лазурный берег, где расстояния между соседями растягиваются и сжимаются, как резина. Они чувствовали взаимную симпатию и все же скорее наблюдали друг друга, чем старались сблизиться; объяснялось это не только известной замкну-

тостью и недоверчивостью обеих, но и разницей в годах, поскольку Агнессе не было и тридцати, а Мано – за сорок. Все, что в Мано напоминало деклассированную богему, притягивало Агнессу и одновременно отталкивало, так же как вдова живописца, принадлежавшего к знаменитой школе «диких», видела в этой дочери крупных буржуа представительницу касты, ненавистной вольным художникам.

Теперь они сидели рядом в конце длинного пустого стола, они были одни в этом подвальчике, размалеванном бог знает как, но привлекательном уже тем, что сюда не проникала жизнь извне и что здесь они могли чувствовать себя защищенными, забытыми, как ни коротка была эта передышка; они спокойно, не торопясь, допивали оставшуюся на донышке бутылки водку.

Только тут Агнесса вынула из своей сумочки нетронутую пачку сигарет «Голуаз». Мано так и ахнула. Она была страстной курильщицей и всегда пользовалась длинными мундштуками, бывшими в ходу в двадцатых годах; ныне, когда женщинам табаку не выдавали, она старалась обмануть свою жажду курева, посасывая мундштучок из черного дерева или слоновой кости, но, увы, без сигареты. Впрочем, очень многие курильщики с той же целью держали в зубах потухший окурок. Агнесса подарила ей всю пачку.

– Это рождественский подарок от моего пациента – старика рыболова, которому я делаю уколы, – объяснила Агнесса. – Выделил из своего пайка. Правда, очень мило с его стороны?

– Какую только гадость нам не подсовывают, – сказала Мано, выпуская дым из ноздрей. – И как вкусно.

Вдруг она решила объяснить, почему среди гостей оказалась Тельма Леон-Мартен.

– Она может быть полезна всем нам в отношении аусвейсов. Правда, у нее есть кое-какие довольно гнусные черты, но такими связями не бросаются. А вы заметили, кстати, кроме капитана, все за ней немножко ухаживали.

– Вам не нужно оправдываться, Мано. Я очень довольна, что увидела ее. И услышала.

Мано теперь уже по-настоящему наслаждалась, сжимая в зубах мундштук с самой реальной, а не воображаемой сигаретой.

– Агнесса... – она с упоением вдохнула струю дыма, не отрывая глаз от кончика сигареты, тлевшего в двадцати сантиметрах от ее губ. – Не знаю, может быть, это сочельник навел вас на мысль о святом семействе, но ваше семейство, если на то пошло... Вы, значит, сторонница забвения обид? Я позволяю себе употребить слово «обиды», – добавила она, – поскольку я могу судить...

Она была почему-то уверена, что Агнессе хочется поговорить о своих близких, да и сама Мано на сей раз испытывала несвойственное ей чувство любопытства. В конце концов должно же что-то скрываться за этим покровом тайны, который вот уже два года не желает приподымать Агнесса. Мано хотелось узнать историю молодой мадам Буссардель не для того, чтобы передавать ее посторонним, а для того, чтобы самой понять то, что произошло и о чем яростно сплетничали люди, хотя никто до сих пор не мог толком объяснить, что, собственно, произошло. Жители Лазурного берега прекрасно знали, что Буссарделям принадлежит в Пор-Кро чудеснейшее поместье, называемое «Мыс Байю»; впоследствии прошел слух, что один из Буссарделей, двадцатилетний юнец, стал жителем Байю; о нем, впрочем, известно было очень немного, поскольку он предпочитал одиночество. О нем уже начали было забывать, как вдруг общее внимание привлек его брак с девушкой, носившей тоже имя Буссарделей, родной дочкой биржевого маклера, которая была старше своего кузена, что вызвало дополнительные толки. Но вскоре разнеслась всех взволновавшая весть о смерти Ксавье, и немедленно возникло до десяти вариантов, по-разному и весьма противоречиво объяснявших эту кончину. Весть распространилась по всему Лазурному берегу, как круги по воде, что является свойством прибрежной полосы Средиземноморья, ибо приморская молва более гулка, чем полушепот провинциальных слухов. Но найти источник ее столь же трудно – это нечто среднее между криком парижского глашатая и неуловимой африканской «телеграфией». Как только в этих француз-

ских городах и всях случается подобная история, обнаруживается какая-нибудь фамильная тайна, в которой приятно порыться, все общественные и пространственные дистанции сокращаются, и тут уж все начинают действовать заодно: и адмиральские жены, господствующие в салонах Тулонского порта, и призрачные старушки, дрожащие даже под солнцем Ле Канне или Монте-Карло, в которых с трудом можно узнать парижских актрис девятисотых годов, и старые салонные львы, живущие теперь доходами со своих крошечных садигов, и процветающие фабриканты местных аперитивов. Вопреки всем усилиям, открытия были самые скромные, да и недостоверные; Агнесса забилась в свой уголок, а затем началась война. И ту, которой знаменитое имя Буссарделей было дано дважды – первый раз в младенчестве и вторично в недолгом браке, – потеряли из виду где-то за взгорьями крохотного островка.

Агнесса знала, что Мано можно доверить тайну скорее, чем кому-либо другому, но не только это побуждало ее рассказать о своих отношениях с семьей. До сих пор ее молчание, ее диковинное одиночество в значительной степени объяснялось полным безразличием к общественному мнению. После смерти Ксавье она в буквальном смысле слова зарылась, спряталась на мысе Байю, который она унаследовала от мужа, приросла к своему мальчику. «Знаете, я настоящая медведица, – говорила она людям, которые звонили по телефону на ее богоспасаемый островок, и добавляла: – А особенно с тех пор, как у меня появился медвежонок». Но нынче ночью в этом подвальчике Агнессу обступали мысли, обычно ей чуждые. Вдруг она начала беспокоиться по поводу того, что скажут и подумают о ней, ибо она не могла не знать о том, что о ней ходят самые различные слухи.

– Должно быть, меня не очень щадили в разговорах, – сказала она Мано. – Да, да, не отрицайте. Впрочем, поделом мне...

Для начала она мужественно призналась своей подруге, что родила сына не от Ксавье. И Мано, продолжая безмолвно посасывать мундштук, удержалась и не сказала, что в этом никто и не сомневался. До того как внезапно стало известно о свадьбе кузена и кузины, Агнесса ни разу не показывалась в Пор-Кро, и смерть Ксавье, случившаяся спустя немного времени, не могла изменить некоторых дат: младенец появился на свет менее чем через восемь месяцев после поспешно заключенного брачного союза.

– Ну что ж, я вам все объясню, – сказала Агнесса таким тоном, который означает, что рассказчик, пораздумав, в конце концов уступает настойчивости собеседника, хотя в действительности дело тут было отнюдь не в настойчивости ее подруги; если к деликатному любопытству Мано не прибавилась бы потребность самой Агнессы высказаться, она не нарушила бы столь долгого молчания.

– В Соединенных Штатах, – продолжала она, – у меня был довольно продолжительный флирт с одним из товарищей по университету. Через некоторое время я встретилась с ним как-то случайно вечером в Париже. И когда я убедилась, что эта встреча не останется без последствий, я решила довериться Ксавье. Он один из всей нашей семьи способен был понять меня. Он тут же предложил мне выйти за него замуж. Когда наступил мало-мальски правдоподобный срок, мы в соответствии со своим уговором сообщили семье, что ждем ребенка. Тогда они вызвали Ксавье в Париж. Они решили открыть ему глаза на меня, обманщицу, а между тем открыли нечто гораздо более мрачное. Мой кузен был когда-то болен туберкулезом, вылез, но с наступлением отрочества подвергся некоей операции. После чего не возникло никаких препятствий к браку, к близости с женщинами, но одно стало невозможно – отцовство. Он был бесплоден. И моя тетка Эмма, его воспитавшая, поскольку он был фактически сиротой, скрыла от него это обстоятельство. И наша семья тоже. Они допустили наш брак, не сказав ничего ни ему, ни мне. Скрыли потому, что наш брак был им на руку. Мы оба в семье считались неприкаемыми – он из-за своей болезни и неустроенности, я потому, что мне уже стукнуло двадцать шесть лет. Я успела прослыть необщительной. Так что мы сами предложили выход, превосходивший все ожидания наших родных, поскольку капиталы оставались в семье

Буссарделей. Да, Мано, такова жизнь, таковы браки и таковы смерти в нашей среде. Так было, так осталось и по сие время. Не думайте только, что это какой-то вымерший мир, палеолит. Напротив, у нас там все молодец к молодцу, можете мне поверить.

Агнесса оборвала свой рассказ и глубоко вздохнула, как перед утренней зарядкой, которую начинаешь делать нехотя. Мано сидела не шевелясь, и Агнесса заговорила вновь более спокойным тоном:

– Вполне понятно, что, узнав о моей беременности, создававшей опасность появления в семье чужого ребенка, родственники открыли Ксавье секрет. Но Ксавье принадлежал к сверхчувствительным натурам. Обнаружив одновременно и свое увечье и весь этот семейный обман, он почувствовал себя больным. Да, больным физически. И скрылся на четвертом этаже родительского особняка, в пустой комнате. Там он открыл окно, у него началось головокружение, неукротимая рвота, и он внезапно свалился вниз. Не буду вам рассказывать всех подробностей; произошло кровоизлияние в мозг с осложнениями. Короче, когда я примчалась на авеню Ван-Дейка и увидела его почти умирающим, я осведомилась о его состоянии у доктора, и тот сказал мне, что спасти Ксавье нельзя. Ни малейшей надежды не оставалось. Но когда я наклонилась над постелью несчастного Ксавье, я уловила проблеск сознания в его глазах, и он успел прошептать мне, что желал бы умереть подальше от них.

– Тогда, – продолжала Агнесса, с минуту помолчав, – вот тогда-то, Мано, я его похитила. Глубокой ночью, когда весь дом был погружен в сон. Я удалила сиделку и договорилась с шоферами санитарного автомобиля. Я похитила его, чтобы отвезти на наш остров; по пути туда он и умер в мчавшемся автомобиле. Произошло это между Оранжем и Авиньоном.

Она замолчала. В подвальчике с желтыми стенами наступила тишина. Мано сидела с потухшей сигаретой во рту и не зажигала ее. Агнесса, почувствовав, что с нее свалилось бремя двухлетней давности, задышала теперь свободнее, давая улечься мучительному волнению. Всей глубиной сердца она оценила почтительное, торжественное молчание Мано и поняла, что в эту минуту между ними завязалась истинная дружба.

Они вышли во двор из безмолвного дома и заметили, что ночь уже идет к концу. Агнесса поэтому решила пойти принять ванну в номере гостиницы, который Мано сняла для нее. Таким образом, она поспеет к семичасовому сен-рафаэльскому поезду; Агнессе надо было пересечь в Ля Полин на Гиер, оттуда было уже недалеко до Вье-Салена, а от Вье-Салена менее двух часов до ее острова. Она провела бессонную ночь, а тут еще такая утомительная поездка! Но после всего, что ей пришлось услышать, испытать, перечувствовать вновь, ей даже приятно было пренебречь своим покоем, пожертвовать им, изнурить себя физически.

В поезде, который приходил из Лиона и еще более далеких мест, стояли запахи ночи, усталости, уныния, сна вповалку. Отопление не действовало, но тяжелый человеческий дух согревал вагон, спасая от предрассветного холода. В каждом купе, как это повелось в последнее время, было по два лишних пассажира. Стоило Агнессе сесть в коридоре на чемодан, как она сразу почувствовала, что приближается к мысу Байю, и ей показалось, что она уехала оттуда уже много дней назад. Поезд мягко укачивал ее. Стало совсем светло. Где они? Агнесса протерла перчаткой запотевшее вагонное стекло и узнала первые округлые, как женская грудь, вершины Сент-Бома. Значит, Обань уже проехали.

Агнесса представила себе, как она подходит к дому. Сегодня восточный ветер, и вряд ли Викторина решится встречать ее в порту с ребенком. Ничего, он подождет ее в своей теплой детской, среди игрушек. И затем ей представилось, как она ляжет рано, часов в девять, как оставит приоткрытой дверь из своей комнаты в детскую, как возместит сутки беспокойства и усталости оргией сна. Ее убаюкает гул моря; даже в эту пору Агнесса не закрывала окна, так прекрасно обогревались жилые комнаты ее дома. А порывам ветра, впрочем не таким уж частым и не очень чувствительным в нижнем этаже, противостояла металлическая сетка от

мошкары, затягивающая окно; дом с маленьким участком укрывался в естественном амфитеатре, за которым сразу начинались густые заросли острова, и был обращен прямо к югу.

При этой мысли, при возникновении мирного образа благополучной Агнессы, который был создан ее собственным воображением, она даже выпрямилась. Снова ей пришел на ум Париж, золотая решетка парка Монсо, особняк на авеню Ван-Дейка, все ее родичи. Не погрешила ли она против истины минувшей ночью в беседе с Мано? Не погрешила ли против справедливости? Она не могла не почувствовать, что Мано внутренне противится ее излияниям, хотя безропотно выслушала ее рассказ о семейных распрях, и этот простой по видимости факт бросал какой-то неприятный свет на самый рассказ, настораживал, особенно в этот час среди этих пустынных провансальских полей, которые вели к дому и которые не знали оккупации. Сомнения быть не могло, Агнесса, сама того не сознавая, описала факты довольно тенденциозным образом. Нет, невозможно свести ее разрыв с Буссарделями к тем побуждениям и событиям, о которых она говорила сегодня ночью. Просто невозможно представить себе, что шла война, страна пережила разгром, оккупацию, десять наций попали под нацистское ярмо, полтора миллиона оказались в плену, триста тысяч никогда уже не вернуться, а она, Агнесса Буссардель, не может примириться со своими близкими из-за такой малости.

Мыс Байю на сей раз обманул ее, не наградив долгожданным покоем. Начать с того, что в первую ночь возвращения Агнесса почти не спала. Вместо оргии сна оргия воспоминаний.

Она сразу забылась, поддавшись нечеловеческой усталости, но проснулась уже через два часа с бьющимся сердцем, с тяжелой головой, где вихрем кружились обрывки кошмара. Она стала перелистывать книгу, но читать не смогла. Перешла в соседнюю комнату, тут была устроена детская, и с минуту смотрела, как спит ее мальчик. Неисчерпаемо было наслаждение этим чудом – зрелищем спящего Рокки. Во сне как-то исчезало сходство с его отцом, с Норманом, каким она увидела его в университете в Беркли. В жилах Нормана было несколько капель индейской крови, и Рокки унаследовал от отца зрачки агатовой черноты, этот пристальный взгляд, в котором было что-то от неподвижности минерала, что-то тревожившее мать. Но сейчас тонкая изогнутая щеточка ресниц, защищавшая его сон и неприкосновенность его тайны, придавала лицу ребенка французскую мягкость.

Агнесса вернулась в спальню, затем перешла в кабинет, осторожно прикрыв за собой дверь. Был уже первый час. Агнесса вспомнила, что в половине первого утра Би-би-си ведет передачу на французском языке для лагерей военнопленных. Обычно Агнесса не слушала этой передачи. Демагогический тон дикторов, почему-то принятый для этих специальных передач, самый отбор информации, замалчивание некоторых новостей, не скрывавшихся в других передачах того же Би-би-си, выпренные поучения, а иногда шуточки – все было слишком явно, неприкрыто и корбило ее, было оскорбительным, по ее мнению, для людей, попавших в немецкий плен.

Если она и старалась поймать лондонское радио, то не для того, чтобы слушать вот эти рассказы. Вообще она предпочитала Сотенса, а верила по-настоящему лишь Рене Пейю. Однако же сегодня она настроилась на соль-соль-соль-ми-бемоль<sup>2</sup>, предвещавшие слова: «Говорит Лондон», и, продравшись через бурю забивки, прослушала от начала до конца передачу для военнопленных, – пожалуй, не так уж глупы были три-четыре каламбура, равно как и заключительная песенка.

В действительности же слушала она невнимательно. Насупив брови, она старалась угадать, кто из ее родичей мужского пола мог по возрасту попасть за колючую проволоку. Прошлой ночью за рождественским столом она говорила предположительно о родственниках, томившихся в плену, и теперь это предположение приобретало некую реальность. Но «ее» пленные не имели ни имени, ни лица, так и не облекались плотью и кровью. В самом деле, как

<sup>2</sup> Начальные ноты «Пятой симфонии» Бетховена. – Прим. ред.

знать, кто из ее кузенов угодил в лапы врагу? Она думала только о кузенах, не сомневаясь, что родные братья сумели выпутаться. Симон – благодаря своему чину и необыкновенно изощренному чувству самосохранения, Валентин – потому, что, хотя у него и не было большого чина, получил в период «странной войны» назначение в Цензурный комитет. «Итак, – думала Агнесса, – кузены, но кто именно?» Только со стороны дяди Теодора у нее было целых три кузена: Гастон, Поль и Рауль Буссардели.

Но если первый вышел из призывного возраста, то в отношении двух других это было вполне возможно. А со стороны Оскара Буссарделя? Или со стороны Жарно? Гуйю? Выбор был большой, даже слишком. Все мужское население клана Буссарделей обступило ее в этой маленькой комнатке, в ее убежище, перед чуть шепчущим что-то радио. Агнесса старалась представить себе, как ее кузены, один или несколько, сидят в этот же самый час перед радио и слушают передачу где-нибудь в «офлаге» или «сталаге»<sup>3</sup>. Три года назад все они, вместе с прочими родственниками, ополчились против Агнессы, но сегодня несколько напыщенных французских фраз, донесшихся из Лондона, протягивали новые нити близости между Агнессой и этими людьми. Людьми, которые даже и не подозревали о ее чувствах.

Назавтра погода испортилась. Ветер утих, тепла прибавилось, но весь остров затянуло клочковатым туманом, который скользил по воде, прилегал к ней вплотную. Горизонт скрылся из глаз. Платиновое море уходило в невидимую даль под белесоватым расплывчатым диском солнца, более похожего в мгlistой дымке на луну. Ближе к полудню Агнесса придумала себе какое-то дело в порту и отправилась туда через весь остров. Но ее усилия не были вознаграждены. Туман застилал мыс Бена, Гиерский рейд, весь Лазурный берег, весь край. Остановившись у руин замка, Агнесса стояла лицом к северу, надеясь разглядеть не дававшийся ей пейзаж. Еще недавно она любила это первобытное одиночество, старалась забыть, где находится, и тогда она, островитянка, как бы перемещалась в пространстве и даже во времени. Ее так цепко держали семейные распри, что она переносила свою неприязнь на всё и вся, и ощущение замкнутости, отрезанности от мира давало ей радость, хотя и не свободную от злопамятства, от жестокости, но какую-то на редкость живительную. Нынче утром все было по-иному. Вслед за другими случайными обитателями этого уголка земли Агнесса в свой черед ощутила гнетущую островную тоску, сродни недугу осажденных. Медленным шагом она возвращалась вглубь острова через мягко подымавшуюся вверх долину Одиночества и поминутно оборачивалась в сторону материка.

Но здесь, на мысе Байю, она жила не одна. С ней жил ее сын. Для сына она и жила. Когда она звала его: «Рокки!» – и он откликался, он, в сущности, откликался на прозвище. При крещении он был назван именем Рено и так записан в мэрии. Ксавье решил заранее, что если у них родится сын, то он будет называться Рено. Так звали деда Ксавье, и, быть может, Ксавье не без задней мысли хотел таким способом узаконить положение того, кто считался его сыном. Когда Ксавье умер и появился на свет ребенок, Агнесса не нарушила воли покойного. Однако позже, уже в первые месяцы жизни младенца, в душе Агнессы началась какая-то сложная работа. Как раз в этот период ее неприязнь к Буссарделям была в самом накале. Ей хотелось вычеркнуть из своей жизни все, что хотя бы косвенным образом связывало ее, даже в мелочах повседневного существования, с родом Буссарделей. Имя Рено стало для нее неприемлемым уже потому, что возникло оно ради умиротворения авеню Ван-Дейка, и всякий раз, склонившись над колыбелькой сына, она уступала своим воспоминаниям об Америке. Когда ребенок начал ей улыбаться, она стала звать его: «Darling, honey»<sup>4</sup> – и наступил день, когда она заметила, что к этим ласковым словам, уцелевшим от периода *sorority*<sup>5</sup> и университета

<sup>3</sup> Сокращенно от *Offizierlager* – офицерский лагерь и *Stammlager* – лагерь для рядовых (нем.).

<sup>4</sup> Дорогой, душечка (англ.).

<sup>5</sup> Женский клуб в Америке.

в Беркли, как-то само собой присоединилось имя Рокки. Так звали сына одной американской четы, где Агнесса проводила свои уик-энды с Норманом, и под их крышей в Лагуна-Бич она впервые стала принадлежать Норману.

В общем, ребенок звался Рено только в период своего утробного существования. Даже Викторина называла его Рокки. Викторина, жена местного рыбака, знала еще Ксавье и вела его хозяйство.

Когда Агнесса отпустила английскую няню, вынужденную осенью сорок первого года возвратиться к себе на родину, Викторина переселилась в дом Буссарделей на мысе Байю. Агнессе хотелось иметь у себя человека, который неотступно наблюдал бы за ее сыном; ему не исполнилось еще полутора лет, как он заболел воспалением легких; в меру своего знания и умения Викторина заслуживала доверия хозяйки, а ее тринадцатилетняя дочь Ирма, девица весьма развитая и разбитная, умела делать все: ходить за птицей, поливать огород, работать на винограднике и даже пилить дрова, не говоря уже о том, что она ездила в магазин за продуктами на материк.

Жители мыса Байю старались теперь при малейшей возможности обходиться местными ресурсами, не выезжая на материк. Регулярная связь между островом и материком становилась все реже, контроль все строже, и остров стал жить жизнью осажденного города или сторожевого поста где-нибудь в африканской пустыне, отрезанного от внешнего мира. Создалось нечто вроде натурального хозяйства, все добывалось и потреблялось на месте. В зиму сорокового – сорок первого года, когда Лазурный берег начал всерьез голодать, Агнесса решила превратить заведенные еще ее покойным мужем плантации арума и левкоя в огороды. Теперь от самого дома и до моря ступенями спускались грядки, разгороженные низенькими заборчиками. В департаменте Вар их называли «мешаниной», ибо тут выращивались самые разнообразные овощи. Выше были виноградники и оливковые деревья.

Так и жили вокруг Рокки три женщины с мыса Байю, а нередко им помогал муж Викторины, незаменимый при работах на огороде, да еще и рыбак к тому же, ловивший на удочку и сетями. Погреба наполнялись припасами: бутылками с вином, с оливковым маслом, банками с томатом, консервированными овощами – словом, всем, чем дарила обитателей мыса Байю целинная земля, обработанная трудолюбивыми руками маленькой артели, – они обходились своим картофелем, кукурузой, горохом, сушеными фруктами.

Но со времени марсельского сочельника Агнесса уже не могла пройтись по своим владениям, не вспомнив о доме Буссарделей, который некогда был поистине полной чашей... Давно это было.

К концу февраля, когда уже отцветали мимозы, заметно удлинились дни и солнце по утрам высоко стояло над островом, до мыса Байю дошел слух о скором возвращении Эмильена Бегу. Новость взволновала обитателей Пор-Кро и быстро распространилась на два соседних острова. Молодой Бегу считался на всем маленьком архипелаге главной жертвой войны, и имя его произносилось особенно часто, поскольку он был единственным сыном булочника в Пор-Кро, и вот уже два года, как островитяне с тревогой и с сочувствием не упускали случая осведомиться у отца Бегу о его сыне. Каждый из жителей Пор-Кро мог в любую минуту рассказать обо всех испытаниях и злоключениях, через которые прошел бедный мальчик. Родители не делали из них тайны. Вот почему не только сын, но и старики Бегу, со своими причитаниями и рассказами о солдатской доле, тоже стали как бы героями здешних мест. Солдат Бегу подорвался на mine во время Седанского прорыва; его товарищи бежали и оставили молодого Бегу одного с раздробленной ногой, решив, что он умер; прошли месяцы, родители оплакивали сына, и вдруг прибыло послание, написанное знакомым почерком и довольно необычное по внешнему виду, что-то вроде двойной открытки со штемпелем, изображавшим орла: молодой Бегу был жив, он был в плену, он был на излечении в немецком госпитале; несколько позже пришло другое письмо, уже с другой эмблемой: он находился на излечении во французском

госпитале, немцы его отпустили на родину, поскольку тяжелое ранение, повлекшее за собой ампутацию ноги, требовало повторных операций. Теперь все это уже позади, он сообщал о своем возвращении.

Агнесса узнала о событии одной из первых: Ирма, доставлявшая хозяйке последние вести этого замкнутого островного мирка, примчалась бегом из порта, рискуя пропустить очередной рейс на материк, куда она отправлялась за провизией.

Агнесса нанесла визит старикам. Мать Бегу уже заранее начала плакать, говорила не умолкая и, разговаривая, грела утюги – надо же принарядиться для встречи, хотя день приезда Эмильена еще не был известен. Но ведь придет он не в санитарном автомобиле, а на поезде, поскольку, как видно из последнего письма, он вполне излечился. Значит, можно будет встретить его на Гиерском вокзале.

В торжественный день население Пор-Кро возросло чуть ли не вдвое. Люди прибывали с островов Леван, Поркероль и даже с полуострова Жиен.

Маленький рыбацкий поселок огласили девичьи восклицания, девушки были веселые, нарядные. Яркое солнце освещало радостные юные лица. Здесь не забыли статного красавца Эмильена, довоенные балы, танцульки на Жиенском полуострове, где Эмильен был всегда нарасхват. Ему было тогда двадцать два года, значит, сейчас ему двадцать пять лет, – не бог весть какой старик! Агнесса шла в первых рядах встречающих, хотя и немного в стороне, а рядом торжественно шествовала Ирма, упирая в бедро горшок расцветающих камелий, которой она с разрешения хозяйки взяла в оранжерее.

Все ждали, когда наконец появится из-за острова Баго знакомая моторка. Она шла прямо к рейду, а с берега казалось, что она стоит на месте. Маленькая, но шумная толпа людей задвигалась, замахала руками, закричала. С этого момента все пошло быстрее. Встречающие покинули дальний уголок бухты, откуда лучше было видно, как катер пробирается между мелями, и устремились к маленькой гавани; теперь все различали моторку и сидевшего в моторке рядом с матерью и отцом Эмильена Бегу, медленными взмахами руки отвечавшего на приветствия.

Наконец моторка пристала к дамбе. Кое-кто из встречавших побежал навстречу, но тут же все отступили на шаг назад. Воцарилось молчание. Отец Бегу взял сына на руки, как ребенка, и с ним вместе вышел на берег. Осторожным движением он сумел поставить Эмильена на единственную уцелевшую ногу. Юноша сделал на месте несколько прыжков, ему поспешили подать костыли, потом он остановился на мгновение на узкой дамбе и всем стала видна пустая брючина, подколотая так высоко, что, казалось, нога ампутирована по самое бедро. Видно было также, как напряглась другая, здоровая нога, поддерживавшая все тело. И в ярком свете эта нога выглядела особенно длинной и тонкой. Калека медленно обвел глазами людей, собравшихся в его честь, но внезапно онемевших при виде ужасного увечья, о котором встречающие уже как-то забыли на радостях или вообще плохо себе это представляли раньше. Все же в эту минуту безмолвия и оцепенения, воцарившегося на берегу, от взглядов встречавших не укрылось, что красавчик Эмильен выглядит прекрасно, видимо, заботы врачей и отдых пошли ему на пользу.

Наконец он двинулся в путь, налегая на костыли. За ним следовали мать и отец; при его приближении толпа молчаливо расступалась, образуя пустоту, Эмильен, не промолвив ни слова, направился к родному дому – к булочной, вошел в дом, за ним вошли родители, дверь мгновение оставалась открытой, потом захлопнулась.

– Мы придем попозже, – сказала Агнесса Ирме. – Пожалуйста, отнеси цветы бакалейщице и скажи, чтобы она подержала их до вечера, а вечером мы навестим Эмильена и его родителей.

Ирма скорчила недовольную гримаску.

– Я бы могла прекрасно сама занести им цветы, – сказала Ирма. – Они совсем не тяжелые. А вдруг вечером вы будете заняты.

Агнесса навестила семейство Бегу только через день. Сына не оказалось дома. Мать объяснила, что он отправился на виноградник один, на костылях, и, расплакавшись, добавила, что отныне он решил ни с кем не разговаривать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.